

Настоем черёмухи полдень дышал,
и белую птахой
металась, ещё не окрепнув, душа
под белой рубахой...

Как будто недавно об этой поре
ты из дому вышел...
И кипенно-белым цвела во дворе
отцовская вишня...

Разбитые ноги нальются свинцом,
и сердце занует,
когда незнакомое глянет лицо
в окошко резное.

— Стучали. Не слышишь? Пойди отопри! —
Ребёнок заплакал.
И ты — чужестранец — стоишь у двери
с бродячей собакой.

Одежды истлели, в дорожной пыли
полощется ветошь.
А спросит хозяин: “Откуда пришли?” —
И что ты ответишь?

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО

Эта прошлая жизнь, эта бабкина ветошь
прописалась навеки в комодке твоём.
Возвращаясь домой, будто птица на ветку,
согревалась душа под лоскутным шитьём.

В ночь, когда и дождю почему-то не спится,
и озябший трамвайчик стучит вдалеке,
ты разгладишь морщинки сатина и ситца,
как шершавую кожу на тёплой руке,

той, что клала стежки, словно буквы в строчку
выводила на пёстрых страницах судьбы...
И темнели горохи на бывшей сорочке,
и темнели дорог верстовые столбы...

И сновала иголка в уверенных пальцах,
лоскуток к лоскутку пришивая года,
чтоб укутать любовь, как дитя одеяльцем,
чтобы век воскресить, как живая вода,

чтобы спрятать тоску, как роман институтка,
намечтавшая в дерзком кружении звёзд
расписаться в позоре, в потере рассудка
и уехать с корнетом за тысячу вёрст.

* * *

Темнело небо. Буднично. Привычно.
До вяжущей чернильной густоты.
Он доставал припрятанные спички,
неловко опираясь на костыль,

а после брёл извилистою тропкой
подальше от настывшего гнезда.
Легонько чиркал спичкой о коробку —
и зажигалась первая звезда.

Над ним смеялись.
Горько и упрямо
стучал костыль по сколотому льду:
он ковылял своей дорогой странной,
чтобы затеплить новую звезду.

И ребятня со всех соседних улиц
сбегалась посмотреть на дурака...
Вдруг небеса весенние качнулись
в глазах его, глубоких, как река...

Стекали капли по-апрельски часто.
Сжимая свечку в сморщенных руках,
он уходил по тающему насту
туда, где звёзды плыли в облаках.

Младенец спал.
Уже зажглась звезда.
И шли волхвы. И мать сидела рядом.
Так далеко, казалось, до креста,
Так близко небо, пастухи и стадо.
Младенец спал.
Ему несли дары.
И тем, кто нёс, хотелось верить в чудо.
И полыхали поздние костры,
горячие, как поцелуй Иуды...

Застыло серебро на тополях —
гроши звенели у беды в кармане...
Младенец беззаботно спал в яслях,
себя доверив Господу и Маме.
Давно пастух пригнал своих овец.
Звезда погасла там, за новостройкой.
А люди доедали холодец
и выносили ёлки на помойку.

Младенец спал.

Созревшим боком хвастает луна.
Там, за забором, сторож не приветлив...
Но вдруг рука потянется сама
к отяжелевшей яблоневои ветви...

Никто в дому огня не зажигал,
не ждал гостей с ночного полустанка.
И не видать смурного мужика
с пристреляннoй отцовскою берданкой.

Наверно, он сегодня запоздал:
в чужом саду искал хмельного счастья.
Трепещет в небе сонная звезда,
готовая сорваться в одночасье.

Застынет сердце мухой в янтаре,
и вскрикнет потревоженная птица,
когда она по сморщенной коре
серебряной дорожкой прозмеится.

Луна расплавит в озере сурьму,
и я тебе, от страха обмирая,
антоновку в ладонях протяну —
и нас хозяин выгонит из рая.